

Вааль А.

ВАЛЕРИЯ

ТРИУМФАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ ИЗ КАТАКОМБ

ЖЕНСКИЕ ЛИКИ — СИМВОЛЫ ВЕКОВ

Женские лики – символы веков

Антуан де Вааль

**Валерия. Триумфальное
шествие из катакомб**

«Алгоритм»

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фр)

де Вааль А.

Валерия. Триумфальное шествие из катакомб / А. де Вааль — «Алгоритм», — (Женские лики – символы веков)

ISBN 978-5-486-03534-0

Антуан де Вааль (1836–1917) – французский писатель и историограф. Известен, в частности, как один из соавторов обширной монографии «Рим; высший глава организации и главное управление церкви» (Париж, 1900; совместно с Даниэлем Чарльзом и Полем-Мари Баумгартеном). В данном томе публикуется роман «Валерия», события которого разворачиваются в начале IV века нашей эры. На фоне непримиримого противостояния двух императоров – Константина, управляющего Галлией, Испанией и Британией, и Максенция, свергнувшего с трона собственного отца, под властью которого находятся Италия, Северная Африка и Египет, автор повествует о судьбе главной героини романа, патрицианке Валерии, чья мать, знатная римлянка, покончила с собой, чтобы не уступить домогательствам Максенция. Преисполненная жаждой мести, Валерия фанатично проповедует христианское учение, представляющее серьезную угрозу власти преступного императора, тем самым ввергая себя в водоворот драматических событий.

УДК 821.133.1

ББК 84(4Фр)

ISBN 978-5-486-03534-0

© де Вааль А.

© Алгоритм

Содержание

Часть первая	6
Глава I	6
Глава II	12
Глава III	20
Глава IV	28
Глава V	33
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Антуан де Вааль

Валерия

© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2010

© ООО «РИЦ Литература», 2010

* * *

Часть первая

Глава I Небесное знамение

Наш рассказ начинается с осени 312 года христианского исчисления. Несколько месяцев перед тем, как в Риме Максенций, сын Максимиана, вырвал преступной силой из рук своего отца управление, в Галлии после смерти Констанция Хлора был возведен войсками на престол сын его, Константин. Между обоими монархами западная половина Римской империи была разделена таким образом: Максенций управлял Италией, землями Африки по северному берегу и Египтом, а Константин – Галлией, Испанией и Британией. Константин строго следовал примеру своего отца: любовью приобретает привязанность своих подданных, Максенций же старался защищать похищенную им корону все более и более невыносимым тиранством. Поэтому римляне из года в год все с большим влечением стремились в Галлию, так как Константин, кроме прекрасных качеств монарха, имел еще то преимущество пред Максенцием, что был прямым наследником императорской династии, тогда как отец Максенция был простым, суровым человеком из Иллирии, которому Диоклетиан пожаловал пурпур единственно ради его дикой храбрости. Это настроение в главном городе было Константину так же хорошо известно, как и личная неприязнь к нему самого Максенция. Он не сомневался, что между ними произойдет когда-нибудь кровавая стычка. Максенций же, будучи неприятелем его, даже желал такой стычки, надеясь на вдвое большее число своих войск и на богатые источники помощи. Не раз уже возбуждал Константин недовольство своих полководцев, избегая вызова противника. Он многократно получал письма из высших слоев римского общества, в которых его просили перейти Альпийские горы и освобождением Рима приобрести господство над Италией и африканскими провинциями. Однако, чувствуя себя довольно сильным в оборонительной войне, Константин считал силы своих войск далеко не недостаточными, чтобы предпринять поход на Италию и напасть на неприятеля в его собственной земле. Поэтому он и старался избегать всякой возможности полного между ними разрыва, выражал Максенцию как при наступлении каждого нового года, так и в день его восшествия на престол письменно свои поздравления, хотя последний никогда не отвечал на эти знаки уважения.

Константин, которому было в то время 38 лет, прожил лето 312 года в Южной Франции, вблизи города Лиона. В последних числах сентября, вернувшись с маневров, он только хотел войти в свою палатку, как Аниций Паулиний, один из благороднейших сенаторов Рима, одетый в лохмотья, бросился к его ногам. Константин тотчас узнал сенатора, который был продолжительное время полковником при его отце, поднял его и изумленно спросил, что заставило его прийти сюда из Рима в таком виде.

– Император мой, – сказал Паулиний со слезами на глазах, – знай, что Максенций отнял у меня сначала жену, а потом обвинил меня самого в государственной измене. С помощью верных друзей и под защитой бессмертных богов, мне удалось убежать из тюрьмы; однако что стало с моими детьми? Отомсти за меня, император, отомсти за «поруганный» Рим, отомсти за себя самого. Если бы ты мог быть глух к просьбам сената, нечувствителен к слезам наших жен и детей, равнодушен к страданиям всего римского народа, то знай, что между жертвами тирана находятся и потомки божественного Клавдия, прадеда твоего. В своей ненависти к тебе этот мерзавец дошел даже до того, что велел разбить твои статуи и на портретах твоих выколоть глаза.

Полководцы, окружавшие Константина, слушали с возрастающим негодованием рассказ так тяжело оскорбленного человека; при его последних словах гнев их вспыхнул ярким пламенем, и они невольно схватились за мечи. Особенно молодые, в жажде подвигов, требовали отомстить кровью за нанесенный императору позор. У него самого при этом известии щеки запылали от гнева, глаза его сверкали под мрачно сдвинутыми бровями. Многие прощали он до сих пор Максенцию, но этого личного тяжелого оскорбления он не должен был перенести молча.

Константин попросил своих полководцев оставить его одного. Он имел обыкновение каждое важное предприятие обсуждать в тихом уединении, теперь же он менее всего хотел спешить со своим решением. Между тем, как он в серьезном размышлении, пылающий гневом и негодованием, ходил взад и вперед по своей палатке, весть о нанесенном ему позоре распространялась, как молния, между солдатами и скоро во всем лагере слышен был клич:

– Идем на Рим! Смерть преступнику!

Императору между тем пришлось перенести тяжелую внутреннюю борьбу. Сколько ни принуждало его желание требовать с мечом в руках удовлетворения за дерзкое оскорбление, однако он никак не мог решиться. Чтобы прийти к окончательному решению, он призвал к себе жреца Гордиана и велел ему спросить волю богов, а потом созвал своих офицеров, а также и сенатора Аниция Паулиния на военный совет.

Тут были отчасти старые, опытные воины, сражавшиеся на востоке против персов, на Рейне против германцев и бывшие в походах как в Египте, так и в Британии; многие же были еще в юных летах и – соратниками Константина. Самым младшим из них был Centurius, или капитан Кандид, благородный юноша с красивой наружностью, попавший в число приближенных монарха благодаря храброму удару меча, которым он спас однажды в битве жизнь Константина.

Кандид был сын Кастула и Ирины. Его отец и обе сестры умерли мученической смертью, а он, как и они, был всей душой христианин. Все солдаты почитали храброго, благородного юношу, христиане же, в большом числе находившиеся в армии Константина, видели в нем пример всех добродетелей. Как вавилонские юноши остались невредимы в пламени печи, так и он вышел из всех искушений солдатской жизни невинным, неиспорченным.

В военный совет императора (*Consilium Principle*) входили также короли и командующие германскими и британскими вспомогательными войсками, а между ними особенно выделялся Ерок, король алеманов, несмотря на семидесятилетний возраст – высокий, коренастый немецкий воин, похожий на исполинские дубы в его родных лесах, с глубоким шрамом на лбу и белой до пояса бородой. Его шлем состоял из черепа зубра, бурая медвежья шкура служила ему плащом, за поясом висел громадный меч – почтенное наследство его предков, получивших его от Тора – бога войны в вознаграждение за геройство. Константин уважал этого старика тем более, что, благодаря его большому влиянию, войска провозгласили его императором после смерти отца.

Когда собрался военный совет, император начал говорить:

– Вы слышали, какой позор причинил мне Максенций. Не нужно мне, клянусь Юпитером, вашего требования, не нужны восклицания солдат, чтобы побудить меня к мести. Однако, как бессмертные боги не наказывают сразу каждое преступление, а выжидают, так и монарху следует действовать обдуманно. Поэтому я пригласил вас, чтобы узнать ваше мнение, а кроме того, велел спросить волю богов в этом важном деле, и скоро мы узнаем их ответ от жрецов.

После этого объяснения поднялся король Ерок.

– Я думал, – сказал он с едва заметной усмешкой, которую мог позволить себе, – что ты пригласил нас объявить нам, чтобы на рассвете завтрашнего утра армия была готова к походу, что через месяц ты хочешь быть перед воротами столицы. Клянусь Вотаном, этот поход должен длиться всего несколько недель, в котором ты удар за ударом с буйной неотступностью должен

победить неприятеля. Максенций должен, еще в постели лежа, услышать стук наших мечей о двери его спальни.

Сам Константин сознавал возможность успеха только в чрезвычайно скорой атаке на рассеянные в верхнеитальянских стоянках легионы и в смелом походе прямо на Рим. В этом же смысле высказались полковники и военные трибуны; командующий флотом ручался за взятие Корсики и Сардинии, равно и за доставку провианта для сухопутной армии, и только что Константин хотел повторить знаменитые слова Цезаря: «*Alea jacta est*» (жеребий брошен) – как в заседание явился Гордиан с венком из цветов на голове и с жезлом гадания в руке.

– Согласно твоему повелению, божественный император, – сказал он, – мы старались по внутренностям животных, принесенных в жертву, узнать волю вечно управляющих богов. Да удастся тебе все, что для тебя счастливо, полезно и выгодно, однако знай, что знаки неблагоприятны и богам неуютно твое предприятие.

Это неожиданное заявление имело на собрание такое влияние, как ночной мороз на молодые цветы.

Все молча и вопросительно смотрели друг на друга, – такое глубокое впечатление произвели эти слова на самого Константина. Мучительная тишина воцарилась в военном собрании; кто осмелился бы идти против воли богов? Аниций Паулиний, римский сенатор, был вне себя от скорби и негодования.

– Нет, нет! – кричал он. – Боги не могут желать, чтобы тот мерзавец больше топтал Рим ногами. Или знаки ошибочно изложены, или пусть Олимп ищет себе поклонников в другом народе!

– Да простят тебе боги, ради твоей скорби, твое преступное богохульство! – ответил Гордиан с горьким упреком. – Как ты можешь измерять определения богов? Знаки верно изложены, и придет день, в который божественный Константин узнает, что боги охранили сегодня своего любимца от опасной отваги, чтобы вести его по более верному пути к большей силе и славе!

Хотя слова Паулиния нашли одобрение и согласия многих полководцев, все-таки теперь большая часть из них, вследствие объяснения Гордиана, смотрела совсем другими глазами на большие опасности предприятия. Поэтому один советовал собрать все военные силы, имеющие обязанность защищать границы вдоль Рейна, чтобы не уступать превосходству сил неприятеля, другой видел только в союзе с монархами востока возможность успеха: третий же находил единственно верным не пускаться против воли богов.

На другое утро все были поражены удивительным знамением, которым было отмечено взошедшее над войсками солнце. Прямо над светилом воссияло словно бы золотое перекрестие с округлой петлею наверху. Все стояли в безмолвии, не зная, что и подумать. И только одного молодого центуриона вдруг осенила истина.

При виде небесного явления Кандид пал на колени, поднял руки и со слезами на глазах воскликнул:

– Да здравствует величественный знак Господа моего, наша единственная надежда! Если ты нам светишь, то кто может нам сопротивляться?

Потом он поднялся и, торжествуя в блаженном удовольствии, сказал Константину, смотревшему с немим увлечением на это видение:

– Да, император мой. Этим знаком победишь! Не человеческие уста, а само небо предсказывает тебе это. Перед этим знаком дрожат демоны ада, и враги твои также бессильно падут наземь перед ним.

– Я узнаю, – ответил Константин, – что знак состоит из греческих букв X (хи) и P (ри), однако я напрасно спрашиваю себя, какое значение могла бы иметь эта монограмма.

Кандид только что хотел дать христианское объяснение знака, как Гордиан предупредил его.

– Божественный повелитель, – сказал он громким голосом, чтобы все окружающие могли слышать, – по правилам гадания высший оракул уничтожает низший, небесное знамение уничтожает знак в принесенных в жертву животных. Истинно ты избранный любимец богов, которые посрамили коварство враждебных демонов и уничтожили их недобрые знаки этим сияющим небесным видением. Вот их толкование и объяснение: великий Митра, которого ты и твоя армия почитаете как *sol invictus*, как непобедимого и всепобеждающего бога солнца, должен быть твоим знаком и путеводителем. Эта монограмма не что другое, как согласные буквы слова «ХАИРЕ» («Хвала тебе!»), и это слово вместе с обоими другими гласит: «Если ты избереши Митру, всепобеждающего бога солнца, своим путеводителем, будет тебе блестящая победа и всякое благо».

После этих слов Гордиан бросил на Кандида злобный, косой взгляд, и торжествующая улыбка заиграла на его губах, когда окружавшие императора офицеры, радуясь перемене знаков, воскликнули:

– *Omen accipimus*, принимаем благосклонное предзнаменование, да ведет нас Митра к победе!

И когда послышалось в армии все более распространяющееся радостное восклицание воинов:

– *Omen accipimus*; идем на Рим, идем на Рим! – Константин один стоял еще в нерешительности.

Толкование жреца его не удовлетворило, вопросительно смотрел он на монограмму, блестящую над солнцем. Нет, не на солнце, а на знак над солнцем указывают слова: «Сим победишь».

Даже старый Ерок, только наполовину понимавший объяснение Гордиана, так как он владел греческим языком еще хуже, чем латинским, задумчиво смотрел на чудное видение и желал бы иметь одного из друидов, своих галльских жрецов, который дал бы ему лучшее толкование таинственного рунического письма.

Кандид, пристально смотревший на императора, угадал его мысли и, подойдя к нему и вынув из-за пазухи *tessera* – знак христианина, на котором была выгравирована та самая монограмма, показал его Константину и сказал:

– Император, нам, христианам, этот знак не чужд; эта монограмма ничто иное, как начальные буквы греческого слова Христос. Так мы пишем его на надгробных памятках наших друзей и выражаем этим, что они, веруя во Христа, Сына Божьего, преодолели смерть и вошли в вечный покой. В наших святых писаниях Христос называется солнцем справедливости; когда он показался своим ученикам на горе Фавор в небесном преображении, его лицо сияло как солнце; престол его, по словам святых певчих, как солнце перед лицом Божиим. Какое могло бы иметь значение слово над солнцем «ХАИРЕ, здравствуй», которым в сених приветствуют попугаи входящих в дом? – говорил с насмешкой Кандид.

– Так эта монограмма, говоришь ты, знак Христа, Бога твоего? – хмурясь, спросил Константин. Значит ни на Митру, ни на Юпитера, ни на Марса, которым римская армия до сих пор молилась, которым сооружали алтари, которым приписывали как торжественные подвиги своих отцов, так и собственные военные успехи, а на Бога христиан, против которого Диокле-тиан издал кровавые эдикты, против исповедников которого императоры востока и теперь еще свирепствуют огнем и мечом, в которого большая часть армии не верит, на него Константин и должен надеяться. И что сказали бы на это его полководцы, его солдаты?

Константин снова поднял взор на сияющее видение, и чем дольше его глаза останавливались на нем, тем настоятельнее требовал от него внутренний голос: «Верь словам юноши и надейся!»

– Каким образом должен этот знак вести нас к победе? – спросил он.

– Император мой, – ответил Кандид, – как орел служил до сих пор знаком, под которым легионы шли на войну, так и теперь закажи знамя с этой монограммой Христа и вели нести его перед армией. Так приказывает надпись: и под этим знаком победишь. И если хочешь оказать мне милость – самую большую, которую ты мог бы оказать, – то доверь это знамя мне. В каждой битве я буду нести его перед твоими легионами в самую гущу битвы, и будь уверен, орлы Максенция превратятся перед знаменем Христа в трусливых кур, на которых нападает ястреб.

Глаза благородного, храброго юноши сияли огнем святого воодушевления. Он говорил с таким убеждением, с такой уверенностью в победе, что Константин не мог противиться впечатлению, произведенному его словами. К тому же объяснение Кандида нравилось его светлomu, строгому уму несоразмерно больше, чем нарочитое объяснение Гордиана. Однако, вопреки матери своей Елене, Константин был еще далек от христианства и, опираясь на свои легионы, преданные идолопоклонству, а в особенности служению Митры, он не мог еще решиться поставить имя Бога христиан во главе своего предприятия.

Старый Ерок решил все.

– Император мой, – сказал он, – пусть эти рунические письма обозначают, что хотят: совет Кандида приделать их к армейским знаменам легионов кажется мне превосходным. Мы имеем в этом видении небесное знамение, обещающее нам победу: этого достаточно, и пусть каждый потом излагает это по своему желанию!

Константин придерживался правила в религиозных вопросах давать свободу личных мнений как себе, так и другим. Он осознал, что совсем новое армейское знамя, которое притом всегда напоминало бы солдатам чудесное небесное видение, воодушевляло бы в каждой битве воинов восторгом и храбростью, и готовый принять решение, он подошел к краю возвышения, на котором находилась императорская палатка, чтобы объявить его солдатам.

Как только Константин поднял руку, смятение моментально улеглось, все подались вперед, чтобы лучше понять его слова.

Освещенный лучами солнца, над которым все еще сияло таинственное видение, имея за собой толпу своих полководцев, стоял юный, богоугодный, мужественный император, возвышенный своим важным решением, с блестящими темными глазами, покрасневшими щеками, полный военной силы, высокий и красивый, как Аполлон.

Звучным и далеко слышным голосом начал он говорить своим:

– Солдаты! Вы знаете, какое оскорбление причинили вашему императору, и знаете, под каким несносным игом кровавого тиранства стонет главный город империи! Если я, ваш главнокомандующий, медлил рисковать благородной кровью моих храбрых воинов, то теперь сами боги этим явлением дали нам знать их волю и притом обещали нашему оружию победу. Я следуя указанию свыше и повелеваю вам: идем на Италию, идем на Рим! Новое знамя, на котором вместо орла будет то небесное знамение, понесут перед вами: им победим и до истечения одного месяца мы будем у ворот Рима. Завтра на рассвете выступаем!

Подобно морскому шуму, поднялось неописуемо радостное восклицание тысячи голосов, смешанное со звуками оружия, и эхом разносилось по ближним горам; все были воодушевлены восторгом и жадой брани.

Если император еще час тому назад с боязнью думал о возможности неудачи, то теперь он был уверен в победе: с такими жаждущими битвы легионами он мог идти даже против двойного числа войск неприятеля.

С закатом солнца постепенно исчезло небесное видение, и солдаты поспешили в палатки подготовиться к выступлению. Между тем Константин пригласил из близлежащего Лиона сведущих в искусстве золотых дел мастеров, передал им несчетное количество золотых монет вместе со множеством драгоценнейших камней и определил аккуратно форму и образ нового знамени. На шпиге длинного шеста должна была красоваться из массивного золота монограмма Христа, обшитая двойным рядом драгоценных камней и окруженная венком из золотых дубо-

вых листьев; под этим, на поперечном шесте, должно было быть укреплено знамя, украшенное жемчугом и золотой вышивкой. Внизу, под знаменем, должен был быть прикреплен в форме медальона бюст императора в виде бога солнца, с лучами вокруг головы, чтобы оказать уважение толкованию Гордиана и последователям государственной религии.

Это было новое военное знамя, которое должно было быть впредь почитаемо под названием *Labarum*, как главное знамя римской армии. Знаменосцем император избрал центуриона Кандида: достойнейшего из всех.

Между тем как солдаты, при наступлении ночи лежа вокруг костров, военными песнями при звуках бокалов праздновали будущие победы, Кандид собрал в своей палатке множество христианских солдат, чтобы поблагодарить небо за чудесное знамение и в святых надеждах представить себе, непосредственно за кровавым преследованием, торжество креста, обращение Константина в христианство, освобождение Рима и римской всемирной империи посредством святого Евангелия.

Для Кандида было еще нечто другое, что заставило его сердце радостно биться: мысль о матери его Ирине. Он вел с ней постоянную переписку, и его благочестивое детское почтение к матери было так велико, что он каждое письмо ее читал, стоя на коленях, потому что почитал ее слова, как слова святой. Что он только мог отложить из своего жалованья, он все посылал ей. Когда он был произведен в центурионы, он обрадовался большей частью оттого, что ему будет возможно оказывать матери более значительную помощь. Сенатор Паулиний известил его, что она здорова; его сердце наполнилось благочестивой гордостью оттого, что тот, хотя и язычник, почти не находил слов для похвалы как мужеству, с которым Ирина перенесла смерть своего супруга и своих детей, так и самоотверженности, с которой она с тех пор предалась бедным и больным. Едва вышедши из отроческого возраста, Кандид оставил родной дом, чтобы вступить на военное поприще: он уже семь лет не видел своей матери, но ее образ остался постоянно перед ним в святом преображении, и после Бога он считал себя всей душой обязанным ей тем, что среди стольких искушений сохранил веру и невинность. И какими яркими красками изображал себе благородный юноша радость свидания, когда он подойдет к матери, как знаменосец Христа, и упадет к ее ногам! И если мысль об умершем отце и сестрах на минуту бросила печальную тень на гладкое зеркало его душевной радости, то он, возвратившись домой, может перед их гробами объявить праведным покойникам, что Тот победил, из-за Которого они мужественно претерпели мученическую смерть.

Только один человек во всем лагере не принимал участия в общей радости – Гордиан. Лежа в своей палатке на подушке, облокотясь на опущенный на стол сжатый кулак, смотрел он пристально и мрачно перед собой. Перед ним стояли нетронутыми бокал душистого вина и ваза с драгоценными плодами.

– Служить посмешищем из-за безбородого мальчишки, ради собаки-христианина! – проносил он со злостью. – Предсказания жертв и знаки гадания с презрением бросить в сторону, чтобы на место бессмертных богов Рима поставить трижды проклятое имя назарянина во главе легионов! Нет, император, нет! Ты не победишь этим знаменем. Гордиан заступится за своих богов, и на окровавленных полях брани среди трупов твоих воинов я буду праздновать торжество вечных над галилеянином!

Час спустя из покоев Гордиана вышел раб в дорожном платье: он прокрался осторожно в темноте ночи мимо палаток и взвился, как кошка, через палисадник, служивший укреплением лагеря. В одежде его было зашито письмо, адресованное на имя главнокомандующего находившихся в североитальянских стоянках легионов Максенция.

Глава II

Верность до гроба

Изнурительный зной лета сменился оживляющей прохладой; обильный дождь оросил иссохшую почву римских деревень и заставил расти везде по полям очаровательную пышную зелень: наступила вторая весна и обвила своими венками корзины, наполненные осенними плодами.

После торжества в праздник Медитриналий (11 октября), на котором впервые пробовали новое вино, и, два дня спустя, в праздник фонтанов, в день которого источники и колодцы украшались цветами, радостные возгласы поселян проводили римлян с их вилл.

Перебрался также в свой дворец и префект города Арадий Руфин со своей супругой Сафронией и дочерью Валерией; дворец этот находился на вершине Colimontium недалеко от Литерана. Эта часть города служила в то время местопребыванием знатнейшей аристократии, и дворцы Мария Максима, Валерия Арадия, Симаха и других превосходили один другого величиной и великолепием.

Арадий Руфин вступил на военное поприще при Максимилиане и Констанции Хлоре; Константин и Максенций были в юности его соратниками. Позже он попал в Никомедию ко двору Диоклетиана, где и женился на дочери одного короля вассалов, Торорта из Босфора, – Сафронии. Так как Торорт и семья его были христианами, то жених должен был обещать будущей супруге своей полную свободу исповедания, и Руфин честно сдержал свое обещание. Сам он, во всяком случае, как старый патриций, оставался верен служению богам, возвеличившим Рим, хотя воспитанный в Ново-Платоновской школе смотрел на многобожие как на символ различных качеств и деяний единого высшего существа.

Его брак был освящен рождением трех сыновей и одной дочери; мать воспитала их всех в христианском учении. Для супруга это не оставалось тайной, однако он надеялся, что школа и жизнь просветят, по крайней мере, его сыновей; он доверил их Лактанцию Фирмиану, которого Диоклетиан призвал в 301 году из Африки как учителя красноречия. Руфин не подозревал, конечно, что Лактанций вскоре после принятия этой должности сделался христианином. Позже сыновья его вступили на военное поприще, и теперь двое из них служили в войсках короля Лициния на отдаленной восточной границе империи, третий же умер славной смертью на поле сражения.

В кровавом преследовании Диоклетиана были пощажены Сафрония и дети ее благодаря заступничеству ее мужа-язычника. Когда весной 305 года Диоклетиан сложил корону, Руфин возвратился из Никомедии в Рим, где его честолюбию представлялись блестящие надежды. Действительно, Максенций, который в 306 году сделался монархом Италии, передал своему прежнему соратнику, по порядку, многие влиятельные должности, а в начале 312 года назначил его даже префектом города и тем вручил ему высшее управление делами города. Если честолюбие Руфина нашло удовлетворение в этом назначении, то супруге его оно причинило боязливые заботы и глубокую печаль. Она боялась не только внезапного низвержения с такой высоты под владычеством тирана, но и видела в этом исполнение своего страстнейшего желания – склонить когда-нибудь мужа к христианству.

В начале своего правления Максенций положил конец преследованию христиан и старался различными способами заслужить благорасположение римского народа. К сожалению, это хорошее начало продолжалось только до тех пор, пока после преступного восстания против своего собственного отца его владычеству грозила опасность извне. Когда же завоевание Египта полководцем Руфом и раздор между другими императорами, а особенно смерть императора Галерия в мае 311 года освободили его от боязни за надежность присвоенного престола, он сбросил маску, и Рим с содроганием и ужасом видел теперь ежедневно увеличи-

вающиеся примеры жестокости, жадности и постыднейшего сластолюбия, с которыми тиран преследовал язычников и христиан. Во время обнаруживающегося в 311 году голода он кричал своим солдатам: «Смелей! Вперед! Расхищайте все!» Так как народ роптал вследствие этого, и крича о хлебе, собирался вокруг дворца, Максенций приказал своим солдатам рубить толпу и таким образом навсегда утолить их голод. Чрезмерно увеличенные и с неумолимой строгостью собираемые подати шли частью на содержание войска, частью же на очень дорогие роскошные постройки; еще не был окончен новый цирк на Аппиевой улице, как император начал уже на главной площади постройку храма в честь своего умершего сына Ромула. Притесняя с такой жестокостью римский народ, Максенций старался в то же время держать в руках знать посредством конфискации имущества и боязни попасть в тюрьму. Особенно христиане должны были узнать ненависть императора. Уже в 310 году умер мученической смертью папа Марцелий; его преемник Евсевий был в следующем году сослан в Сицилию, где вскоре после того и умер. Только политический расчет по отношению к Константину останавливал тирана от возобновления прежнего кровавого эдикта Диоклетиана против христиан.

В первые дни своего возвращения в город Руфин должен был привести в порядок множество запущенных дел, требовавших его присутствия в префектуре с утра до вечера. Он отдыхал только вечером, разговаривая со своею женою и дочерью. Шестнадцатилетняя Валерия, младшая из его детей, была чрезвычайно прелестное и грациозное создание; черные волосы обильными локонами окружали ее овальное, с нежными чертами лицо, и в глубоких глазах ее светилась чистая, полная детской непорочности, душа. Она обладала пылким умом и необыкновенной силой воли, почему и была радостью и гордостью своего отца, нежно любившего единственно еще оставшееся ему дитя.

Однажды вечером Руфин застал свою жену крайне серьезно настроенной. Напрасно спрашивал он о причине, напрасно старался развеселить Сафронию, которая чувствовала себя удрученной необъяснимым беспокойством. Когда после ужина раб поставил на стол корзиночку превосходного красного винограда и Валерия, подняв одну из кистей, с детской радостью любовалась ее величине и красоте, серьезно настроенная Сафрония начала в необыкновенно торжественных словах говорить по этому поводу:

– Узнай в этом плоде, – говорила она своей дочери, – образ страданий и испытаний души. Весенний луч должен найти виноградный куст выросшим на каменистой почве, привязанным к дереву и мокрым от слез под ножом виноградаря, чтобы сжалиться над ним и вырастить из обнаженной лозы благороднейший плод!

Валерия невольно опустила виноград обратно в корзину, мать же сорвала задумчиво одну красную ягоду, раздавила ее между пальцами и сказала:

– Кожа красна, внутренность же чиста и прозрачна, и между твердыми косточками винограда находится сладкий сок – так и со страданием.

На глазах Сафронии искрились слезы, молча и с огорченными сердцами сидели напротив нее муж и дочь.

Если бы особенно важное совещание не требовало, именно сегодня его личного присутствия в префектуре, на другой день Руфин охотно остался бы дома ради своей супруги, тяжелое предчувствие которой еще увеличилось, все-таки он обещал через час вернуться. После его ухода Сафрония поднялась на открытую, убранную цветами башенку их дома и следила глазами за мужем, идущим по дороге мимо Колизея к площади, где за храмом Мира находилось здание префектуры. Перед ее глазами возвышался там с очаровательной прелестью Фламиниев амфитеатр, или Колизей, превышаемый двойным храмом Венеры и Рома, вблизи его находилась триумфальная арка Тита и по левую сторону Палатинский холм с гордым великолепием царских дворцов; одно строение величественнее другого. Блеском утреннего солнца освещались храмы Юпитера Статора, Септима Севера и дворцы Августа, Тиберия и Калигулы с лесом колонн и статуй, ослепляя глаза богатым убранством золота, красок и редкого мрамора.

Позади всего возвышался Капитолий с укрепленным замком и крытым золотом храмом Юпитера. Однако глаза патрицианки не видели всего этого великолепия, душа ее носилась далеко, вместе с ее сыновьями, и невыразимое желание их видеть вкралось в ее сердце. Она думала о своем муже и, вздыхая, подымала омраченный слезами взор к небу с вопросом: «Когда, о Боже, когда же уступит тьма язычества в его душе место познанию Твоей истины?»

Опечаленная такими мыслями, она не обратила внимания на страшные фигуры, приближавшиеся к их дворцу, не видела, как рабы в императорских ливреях внесли на передний двор их дома закрытые носилки, тогда как на ближайшей улице, как в засаде, строились вооруженные солдаты.

Сафрония была выведена из мрачной задумчивости докладом, что царедворец желает с ней говорить, и только что о нем доложили, как он появился сам.

При виде этого человека, отталкивающие черты которого еще больше обезобразивались наглой усмешкой, благородная женщина вздрогнула, вольноотпущенный же поклонился низко госпоже и сообщил ей, без обиняков, что божественный Максенций, очарованный ее красотой и грацией, избрал ее себе в супруги; что он, слуга монарха, получил приказание сейчас же привести ее к властелину и что носильщики стоят уже готовыми к услугам на переднем дворе.

Мертвенная бледность покрыла лицо Сафронии, несколько минут стояла она, окаменев от ужаса, подобно лани, увидевшей шакала, от которого она уже не может убежать и когти которого растерзают ее в следующее мгновение. Взгляд к небу привел ее в себя, и она ответила послу с твердой решимостью:

– Передай императору следующие слова его подчиненной: «Я христианка и священным союзом неразрывно связана со своим мужем; я не смею и никогда не исполню воли императора.

– Ну, – ответил царедворец с легкомысленной насмешкой, – от этих священных уз, которые привязывают тебя, высокая госпожа, к мужу, легко освободиться. Все смертны, гласит пословица. Итак, ничто не мешает тебе исполнить приказание императора».

Сафрония содрогнулась.

– Нет! – воскликнула она гневно, – никогда, никогда!

– Так знай, – сказал вольноотпущенный холодно и сухо, – что я имею строгое приказание немедленно, хотя бы и силой, привести тебя к императору. Чтобы избежать шума, я велел занять все входы, мои люди стоят в передней.

Угнетенная ломала безмолвно руки. Неужели нет никакого спасения? Из глубины своего душевного страдания устремила Сафрония к небу взгляд, полный пламенной мольбы, как бы вдохновение свыше вложило ей в уста слова просьбы, с которой она, по-видимому, соглашаясь с приказанием, обратилась к царедворцу:

– Предоставь мне четверть часа времени, чтобы одеть праздничное платье, – сказала она.

Тот охотно согласился и, когда Сафрония ушла, сказал, язвительно смеясь:

– Похожа на всех!.. Женская добродетель? Ха-ха-ха!

Прошло четверть часа, Сафрония не являлась.

После продолжительного ожидания царедворец вышел из терпения, особенно когда вспомнил об ожидающем императоре, и смело пошел через соседние комнаты к покоям Сафронии. Он постучал, – ответа не последовало. Он позвал, – все было тихо.

Неужели, несмотря на все принятые им меры, нашла эта женщина выход, может быть тайный выход, чтобы убежать?

Быстро решившись, отворил вольноотпущенный двери; в ту же минуту Сафрония со словами: «Господи, тебе вручаю свою душу!» – вонзила себе в сердце кинжал. Она упала, не испустив ни звука.

С проклятием на губах убрался царедворец оттуда.

Евсений, писатель истории церкви, рассказывает нам это событие в своей книге «Жизнь Константина», причем он добавляет: «Эта женщина доказала своим поступком всему чело-

вечеству в настоящем и в будущем, что целомудрие только у христиан непобедимо, что оно сильнее смерти».

Немедленно извещенная рабыней о прибытии сыщика, Валерия, которая обыкновенно проводила утренние часы в занятиях наукой, поспешила в комнату матери; императорская стража ее оттолкнула. Намек одного из них дал ей понять, что что-то ужасное угрожает ее матери, и невыразимый страх охватил ее. Так прошло почти полчаса: наконец пришел вольноотпущенный, кивнул своим людям, и они поспешили уйти с ним.

Валерия вздохнула свободнее: ее матери, вероятно, удалось оттолкнуть от себя чудовище.

Она летела через комнаты, которые вели к покою ее матери, и громко звала ее. Однако ответа не было и... о милосердный Боже! Вот она лежит мертвая в своей крови.

С громким криком упала девушка на пол.

Руфин ускорил, по возможности, свои дела и поспешил домой, потому что и им овладел необъяснимый страх. Уже на переднем дворе встретили его, рыдая и жалуясь, привратники и рабыни.

С боязливой поспешностью ворвался он в комнату Сафронии: как громовой удар подействовал на него вид окровавленного тела.

Охваченный необъяснимым страданием, бросился он на пол возле покойной, положил ее голову себе на руки и восклицал, рыдая:

– Сафрония, милая жена! Нет, не может быть! Ты не умерла! О, скажи еще хоть одно слово! Открой хоть еще один раз глаза!

Однако супруга была мертва; когда же он осведомился о своей дочери, то узнал, что она в обмороке, и направился, шатаясь, от ложа покойницы к постели своей дочери.

Бледная как мрамор, с закрытыми глазами, без дыхания, лежала там Валерия. Руфин схватил судорожно ее руку, как бы желая удержать душу в слабом теле. Ах, если это не только обморок! Если в одно время похищены у него жена и дочь! Верная кормилица, которая ухаживала за больной, успокоила отца, говоря, что пульс ее еще бьется и что Валерия скоро очнется.

– Но тогда нужна величайшая осторожность, – прибавила она и попросила отца подождать в соседней комнате ее пробуждения.

Руфин вышел.

Обморок продолжался долго, и несчастный человек имел достаточно времени измерить и взвесить всю тяжесть своего положения. Внезапный удар надломил его, и он напрасно искал опоры, которая бы его поддержала. Сегодня в первый раз испытал он на самом себе, что слабая сила обитателя земли не в состоянии одна снести всю тяжесть большого несчастья. А с неба не простиралась рука, чтобы облегчить его страдания, и философия его оказалась бессильной в этом деле.

Вдруг одна из рабынь принесла лист бумаги, который теперь только заметили на столе в комнате Сафронии. Руфин сразу узнал почерк своей жены: в письме было сказано:

«Супруг мой, один Бог знает, как горячо я люблю тебя и наших детей, как сердце мое разрывается при мысли, что должна вас оставить внезапно, не простясь. Но иначе нельзя. Я должна сохранить беспорочным для Бога священнейшее, что имею; я не смею предать поруганию сосуд Святого Духа. Я бы растаяла от стыда, если бы должна была воротиться к тебе опозоренной; тем не менее должна я предстать такой перед глазами Ангелов и перед лицом Божиим. С пламенейшим усердием, от всего сердца просила я Его указать мне другую дорогу к спасению, а если не придет помощь, так я последую внутреннему голосу и убогу, как олень от сетей охотника, вверх к горам недоступным для преследования. Христос примет мою душу, и мой верный Руфин, чего я не могла здесь, как грешница, вымолить для тебя, того надеюсь достигнуть, когда буду молиться за тебя, как мученица. Валерия, милое дитя мое, утешай своего отца, предай меня молитве церкви; вспоминай обо мне, несчастной! И на небе я останусь твоей и твоих братьев матерью и когда-нибудь...»

Письмо осталось неоконченным. Приход императорского вольноотпущенного не дал Сафронии высказать до конца веру и надежду на будущее свидание там, где счастьем святых не угрожает опасность разлуки.

Руфин перечитал письмо еще и еще раз, и страдание его облегчилось потоком слез. Какой нежной любовью дышало каждое слово умершей, как проглядывал в каждой строке благородный, возвышенный ум его супруги!

Римская история повествует, что подобный же случай произошел с Лукрецией, которая, не желая пережить своего позора, убила себя сама. Кто бы подумал, что подобное героичество теперь еще возможно? И все-таки подвиг Сафронии был тем выше, чем благороднее были причины, побудившие ее к этому. Руфин, хотя и язычник, чувствовал превосходство этих побудительных причин, корень которых заключался единственно в высоком понимании целомудрия и супружеской верности у христиан.

Рабыня доложила, что Валерия пришла в себя и желает видеть отца. Молча протянула ему больную руку, оба не находили слов для выражения своих страданий, и только глаза и безмолвное пожатие рук говорили.

Впрочем, горе Валерии было совершенно другое, чем горе отца, особенно когда она прочла письмо матери. Она – христианка, могла вполне понять высокий смысл поступка покойной. Ей, дочери-христианке, мать могла всегда открывать свое сердце. Сафрония так и поступала со всей святой любовью матери, тоже христианки. Чего муж ее, как язычник, не понимал, о чем она не могла с ним говорить, что в часы возвышения и просвещения смущало и наполняло ее благородную душу, она все изливала в восприимчивое сердце своей дочери. Как часто молились они и плакали вместе у престола милосердия Божия, чтобы рухнула наконец стена, отделяющая их в самом высоком и святом от мужа и отца! Валерия потеряла больше, чем мать, но, удрученная горем, она смотрела на стоявшую у престола Господня, украшенную победным венком мученицу и ясней становилась ей надежда, что час милосердия для ее любимого отца теперь уже не так далек.

Между тем одна из рабынь дала знать о случившемся задушевной подруге Сафронии Ирине, и благородная матрона вступала теперь, полная христианской любви и участия, в несчастный дом. Ирина умела как никто, проливать целительный бальзам на жгучие раны; она принесла с собой (как гласит ее имя) покой; с ее появлением явились покорность и надежда: два ангела, которых вечное милосердие послало в эту долину слез, чтобы слабый смертный не согнулся под тяжестью креста.

При смерти благородных людей таинственное утешение заключается в представлении их последних слов и действий, – золотой закат после солнечного дня. Поэтому Ирина рассказала, как Сафрония вчера еще в обед пошла в одну из отдаленных улиц транстиберинского квартала, чтобы отнести одной бедной роженице укрепляющую пищу и новое белье ее ребенку. Потом вспомнила она некоторые черты тихой добродетели, геройской самоотверженности, некоторые слова сердечной подруги, которые, как аромат из чашечки розы, истекали из глубины ее благородного сердца. И как было дополнено изображение Сафронии, набросанное Ириной, последними, написанными ею в виду смерти словами.

Полные любовью к умершей, разговаривали обе женщины, не обращая внимания на чуждость религиозных взглядов Руфина; ведь и Сафрония написала в таком же духе последние прощальные слова. Но жаждавшее утешения сердце Руфина принимало все, как иссохшая почва – оживляющий дождь. Он всегда думал, что знает Сафронию до глубины ее души: теперь только открылась перед ним вся глубина ее чистого и благородного сердца. И что за возвышенные идеи, которые он сегодня в первый раз слышит и которые, казалось, были доверены этим женщинам!

Руфин знал, что муж Ирины вместе с двумя дочерьми был казнен ради христианской веры, однако никогда не интересовался подробностями их смерти. Теперь же его побуждало

узнать, как перенесла слабая женщина потерю мужа и детей, и в своей требующей утешения печали он воспользовался одним замечанием последней, чтобы высказать свою просьбу.

Ирина поняла мысли Руфина и охотно исполнила его желание.

– Когда были изданы кровавые эдикты Диоклетиана, – начала она, – и когда Максимиан, следуя своей враждебной жестокости, изгнал христиан из всех пристанищ, конфисковал наши церкви, госпитии и даже наши кладбища, мой муж Кастула, который был при монархе важным сановником, предоставил им в распоряжение наше жилище для церкви. В то время как император подписывал кровавые смертные приговоры, христиане отправляли в его собственном дворце святые таинства. Помнишь ли ты еще, благородный Руфин, храброго трибуна Севастиана?

– Который был сначала исколот нумидийскими стрелами, однако возвратился опять к жизни и тогда уже был убит дубинами, – ответил утвердительно, кивая головой, Руфин. – Припоминаю, что тогда много об этом говорили.

– Мы перенесли, – продолжала Ирина, – «мнимоумершего» в наше жилище, чтобы похоронить его в тиши следующей ночи. Однако с величайшей радостью заметили, что Севастиан жив, и нам удалось скоро восстановить истощенные потерей крови силы. Едва вылечившись, предстал он перед императором, страстно желая мучений. Максимиан велел убить его, как собаку, однако вскоре стал узнавать, где Севастиан нашел приют и уход. Открытие, что его собственный царедворец в его собственном доме предложил ему убежище и даже собирал там христиан для совершения богослужения, привело его в величайшую ярость. Мой супруг был немедленно схвачен и после троекратного допроса и троекратной пытки на Лабиканских воротах закопан живым в песочную яму вблизи водопровода Клавдия.

Ирина, охваченная внутренним волнением, помолчала несколько минут и затем продолжила:

– Я с двумя дочерьми, девушками пятнадцати и шестнадцати лет, была при грубом истязании отведена в тюрьму. Мое младшее дитя Кандид избежал мести императора, так как Кастул незадолго перед этим отправил мальчика в военное училище в Галлию. Все ужасные страдания месячного заточения были еще увеличены тем, что меня разлучили с детьми и, несмотря ни на какие просьбы, я не могла ни видеть их, ни узнать что-либо о них. Однажды утром, пришел сторож и доложил с железным хладнокровием, что обе девушки лежат мертвыми на полу их тюрьмы. В моей горячей просьбе увидеть хотя на одну минуту их трупы жестокий человек отказал сначала, но наконец моя любовь победила, когда я напомнила ему собственных его детей. Я вошла за перегородку: там лежали они, два увядших бутона, на земле. Одна протянула руки в виде креста, другая покоилась около нее – жертва возле жертвы.

Слезы заглушили голос Ирины; глубоко тронутый Руфин схватил руку своей дочери: как возможна была для него подобная же утрата!

Матрона вытерла слезы и так закончила свой рассказ:

– Восшествие на престол Максенция открыло двери моей тюрьмы, и я направила первые шаги к месту, на котором покоился прах моего мужа, а оттуда к детям, поставленным в общую гробницу на кладбище Каликста. С тех пор я живу одиноко, как дерево зимой, лишенное листьев, простирающее свои нагие ветки к небу. Одно-единственное утешение и надежду оставил мне Бог – моего сына Кандида.

Ирина замолчала, в молчаливой задумчивости сидел и Руфин. Сколько горя перенесла эта слабая женщина! И откуда почерпнула она мужество при таком искушении?

Валерия постепенно настолько оправилась, что осмелилась просить отца позволить оказать дорогой покойнице последнюю дружескую услугу, а так как и Ирина поддержала ее просьбу, то Руфин, несмотря на свое опасение, дал наконец согласие. Кто мужественно пьет чашу испытаний, тот находит на дне ее таинственную небесную силу: это Ирина испытала на себе.

И так Валерия пошла с подругой своей матери в домашний архив, куда тело покойной было перенесено слугами и положено на тюфяк. Руфин остался в комнате один со своей печалью и мыслями, но печаль улеглась и мысли прояснились.

Когда утренний рассвет посылает свои первые лучи на темную поверхность моря, тогда сглаживается зыбь и благодарственно приветствует кормчий проблеск нового дня.

Прежде чем лишиться себя добровольно жизни, Сафрония надела то белое полотняное платье, которое получила в день своего крещения: она хотела возратить его Богу и Спасителю незапятнанным грехом, окрашенным мученической кровью.

Валерия опустила глубоко расстроенная на колени у тела покойной и, обвив руками дорогую голову, разразилась следующими словами:

«Милейшая мать, как мученица, с пальмовой веткой в руках стоишь ты теперь у престола Господня. Нет, я не хочу плакать! Дочь такой сильной женщины, дитя мученицы должна показать себя достойной своей матери. Пусть Бог привет слабый черенок к дереву креста. О, ты святая, сквозь слезы смотрю я на небесное величие и прославляю с тобой нашего Господа».

С помощью Ирины и двух верных служанок принялась Валерия за прискорбно-сладкую работу. Они набальзамировали труп покойной дорогими душистыми травами, одели ее в расшитое золотом платье, вложили ей в руки пальмовую ветвь и обвили голову венком из роз. Поставленная по староримскому обычаю ногами к дверям, покойница была окружена свечами. В курильнице горел перед ней благовонный ладан, наполнявший благоуханием комнату. Обрызганное кровью платье матери Валерия спрятала, как священную реликвию, в шкатулку из драгоценного дерева, обложенную дутым серебром и убранную украшениями из слоновой кости.

Ирина взяла на себя некоторые заботы о приготовлении к погребению, как, например, известить о смертном случае в церкви Либитины и заказать носильщиков мертвых: Валерия же поспешила к своему отцу, чтобы утешить его, оставленного в печали. Ведь она знала, как он нуждается в утешении, он, которому не светил во тьме его несчастья благодатный свет милосердия и веры – луч, который облегчал ей потерю преданием себя воле Господней и надежде на будущее свидание.

Она застала своего отца с опущенной на руки головой, думающим о письме Сафронии; он протянул ей листок и сказал:

– Прочти мне это громко, дитя мое, в твоём голосе я опять услышу голос твоей матери.

Валерия взяла лист и начала читать. Вначале ей удалось сдерживать свое внутреннее волнение, но когда она взглянула случайно на отца, у которого слеза за слезой катилась по щекам, тогда и ей овладело уныние и ее голос дрогнул. Но со всей унаследованной от своей матери энергией своей крепкой души ей удалось побороть волнение и продолжать чтение; она заключила его следующими словами:

– «Христос примет мою душу, и, мой верный Руфин, чего я не могла здесь как грешница вымолить для тебя, того надеюсь достигнуть, когда буду молиться за тебя как мученица...» Это завещание матери, – сказала Валерия, обвивая с пламенной нежностью шею отца руками, – не хочешь ли ты исполнить ее последнее желание?

Руфин смотрел сквозь слезы на свою дочь, тербил ее руку и молчал. Дочь понимала его, и глаза ее, полные благодарности и надежды, поднялись к небу: молитва мученицы начинала действовать; душа, которая так долго заблуждалась, почувствовала первую потребность иметь хорошего пастыря, который взял бы ее на плечи, как потерянную овцу, и отнес в сад сладкого спокойствия души и небесного утешения.

По его желанию Валерия должна была проводить его к телу матери. Вид покойницы, лежавшей в гробу, так потряс его, что горе смешалось в его сердце с благоговейным почитанием супруги-мученицы. Становясь перед ней на колени, он положил письмо на грудь покойницы и устремлял поочередно свой затуманенный слезами взгляд то на ее письмо, то на

спокойно-радостное лицо супруги, как бы желая еще раз слышать эти слова от нее самой. Сафрония умерла, чтобы сохранить ему супружескую верность, но Руфин чувствовал с живейшим убеждением, что она способна была на эту жертву только потому, что была христианка. Обычные предубеждения против христианства были уже давно изгнаны блеском добродетели его жены и дочери; но, что их религия может воодушевить к таким великим жертвам, было для него ново и глубоко тронуло его, и взгляд его невольно возвращался опять и опять на последние слова письма: «...чего я не могла здесь как грешница вымолить для тебя, того надеюсь достигнуть, когда буду молиться на тебя как мученица».

Глава III

Грозные тучи

С мрачным взглядом, небрежно лежа на диване, зевая над скучным текстом «дневника» – *acta diurna* – тогдашней государственной газеты, ожидал Максенций прихода Сафронии.

Все существо его показывало низкое и варварское происхождение. Это была плотная, широкоплечая фигура – живой образ грубой и беспутной силы. С низкого лба его спускались почти до бровей всклокоченные волосы; круглая толстая голова покоилась на тучной шее, что-то невыразимо наглое сверкало в его пронизательных глазах. Он сам любил сравнивать себя с Геркулесом, своих телохранителей, состоявших из самых высоких и сильных солдат, он называл геркулесами.

Максенций кончил чтение «дневника» и только что хотел, не имея больше терпения ждать, послать второго вольноотпущенного в квартиру Сафронии, как доложили о прибытии вестового с крайне важным письмом.

– Пусть отнесет его к префекту канцелярии, Ираклию, или куда хочет, – ответил император, зевая, однако опомнился; ему пришло в голову, что тут наверняка известия с театра войны в верхней Италии, и велел подать письмо.

Вестовой был послан императорским полководцем Руфом, командовавшим армией на севере.

Максенций распечатал письмо и чем дальше он читал, тем больше омрачались черты его лица.

Он знал уже из прежних докладов, что Константин перешел Альпийские горы и при Турине одержал победу. Однако не обратил внимания на этот первый успех противника. Он так надеялся на испытанный, особенно в Египте, военный талант Руфа, что даже не сомневался, что тот дал победить себя только ради военной хитрости и скоро пришлет ему голову Константина.

Теперь полководец докладывал ему, что после взятия укрепленного города Турина неприятель пошел форсированным маршем на Бресцию, потом к Вероне и в обоих местах разбил императорские войска и взял Верону штурмом. Между убитыми находится и Рурций, начальник города. Как в Турине и Бресции, так и здесь, вопреки военному обычаю Константин даровал гарнизонам жизнь. Со взятием Вероны верхнюю Италию нужно считать потерянной, как неудержимая поспешность, с которой противник устремился вперед, так и малодушие его собственных солдат не позволяют полководцу собраться с силами и еще раз сразиться с неприятелем на равнине реки По: поэтому он велел загородить Апеннинский проход, чтобы выиграть время для сбора вблизи Флоренции новой армии. Настоятельнейше просил он императора прислать ему форсированным маршем все имеющиеся в распоряжении силы, а особенно легионы, с нетерпением ожидаемые из Сицилии и Африки.

Это были известия, которые наконец-то вытряхнули императора из его обычной лени.

Бешено бросил он это письмо на пол недочитанным, а потом топтал его ногами и кричал:

– Флоренция, Флоренция? А, плут, изменник! Отдал без кровопролития Пласенцию, Парему и Болонию! Почему не поспешил я сам стать во главе моих легионов, чтобы на подобие Геркулеса живым словить кабана, ворвавшегося в мои поля?

Полный злости ходил император взад и вперед по своему покою. Возможно ли, чтобы Руф, не потерпевший еще ни одного поражения, чтобы его лучшие легионы, несмотря на их многочисленность, трижды были разбиты, один раз за другим? И с каким совершенством должны были неприятели каждый раз побеждать, чтобы привести его армию в полное расстройство?

Наконец Максенций вспомнил, что не прочел еще письма до конца. Он поднял его с пола. Заключение гласило:

«Как меня известил верно нам преданный жрец Митры в армии Константина – Гордиан, тот заказал, ссылаясь на представившееся ему небесное видение, новое войсковое знамя, на котором он изображает себя в виде бога солнца, над ним – тайный знак, обозначающий имя Бога христиан. Как ни неуклюжа басня о небесном видении, которое наверно Константин видел один, после весело проведенной ночи, однако, солдаты его, большая часть которых состоит из христиан, оказывают под этим новым знаменем чудеса храбрости.

Перед последней битвой я избрал из отдельных легионов пятьсот самых храбрых и обещал им высшие награды и повышения, если они возьмут то знамя. Никогда я еще не видел подобного буйного сражения; однако, будто поддерживаемое демоническими силами, то проклятое знамя даже не колебалось, из моих же пятисот едва один остался в живых».

– Так! – скрежетал Максенций зубами, сжимая кулаки. – Так! Назаряне посягают на мою корону и жизнь? Ах вы паршивые собаки, этим вы платите мне за то, что я вас спустил с цепи! Божественный Диоклетиан верно судил вас: почему же я уничтожил его истребительный эдикт?

В это мгновение явился, дрожа от гнева своего господина, вольноотпущенный, которого Максенций послал к Сафронии и доложил, что та женщина сама убила себя, объясняя, что она христианка и поэтому никогда не последует повелению императора. Это потрясающее известие не пробудило из груди Максенция угрызения совести.

– Она христианка и поэтому никогда не послушается повеления императора, – повторил он язвительно. – Да, это так! Они все государственные изменники, от последнего нищего до их епископа Мельхиада. Как бы они торжествовали, если бы Константин пробрался в Рим! Но клянусь бессмертными богами! Я вам отобью охоту! Иди, – кричал Максенций на вольноотпущенного, – иди и скажи Ираклию, чтобы он пришел ко мне после обеда; пусть он выловит этих вшей из моей накидки.

В мрачной злобе император стал опять ходить взад и вперед по комнате. Ведь изрубил же он в прошлом году с помощью своих преторианцев и геркулесов несколько сотен римских граждан, почему же не мог бы он и теперь для устрашающего примера загнать в флавийский амфитеатр несколько тысяч христиан и велеть изрубить их?

– Однако, – сказал он самому себе, – эта гадина неистребима; как моль на шерсти, так и они угнездились в целом городе, даже и во дворце. И какой желанный повод дал бы я этому гальскому мальчишке играть роль спасителя римского народа, если бы я изрубил кучу этих болванов.

От ярости против христиан император опять переходил к обдумыванию своего собственного положения.

– Если бы Руф был еще раз побежден при Флоренции, не была ли бы этим открыта неприятелю дорога в Рим? Пусть придут, – говорил Максенций самому себе, – я велю исправить городские стены и укрепить их валом и рвом. Пусть попробуют эти собаки залезть в мою барсучью нору: с окровавленной мордой уйдут они опять отсюда!

В это мгновение доложили о прибытии Руфа.

Ввиду серьезного положения императорский полководец считал необходимым лично переговорить с монархом и предложить ему тот военный план, который, по его уверению, один и мог бы еще спасти императора. Доверив главное начальство одному из своих полководцев, он беспрерывно, днем и ночью, ехал следом за вестовым.

Максенций был изумлен неожиданным появлением своего полководца; устные сообщения утверждали и объясняли то, о чем он докладывал в своих письмах.

– Конечно, – повторил император, – я велю укрепить Рим и держаться в оборонительном положении. Скорее не останется в нем ни одного камня на камне, чем я отдам его Константину!

– Коль скоро тот подойдет к воротам, – ответил Руф, который благодаря своей воле мог откровеннее других смертных говорить с императором, – тогда тебе твои стены и валы уже ничем не помогут. Для осады мы нуждаемся во всем, особенно в провианте. Прошлогодний голод опустошил склады, и я очень сомневаюсь, что префекту Руфину возможно было наполнить их из скудного урожая нынешнего лета.

– Я велю его живым изжарить, если не все амбары наполнены! – кричал Максенций, негодуя на слова своего полководца. – Кроме того, у меня счет к этому Руфину относительно его жены. Во всяком случае, запасов хватит для легионов на несколько месяцев.

– И какая тебе в том польза, – ответил Руф, – если ты удержишь Рим на два или три месяца? Уверен ли ты при этом, что народ не поднимет бунта в осажденном городе?

– Народ? Бунт? – смеялся император. – Как фигляр свою собаку, так и я с окровавленным бичом в руках заставлю римлян танцевать передо мной. Однако выскажи наконец свои планы!

– Ты не можешь удержать Рим продолжительное время против Константина, – повторил полководец. – Если же ты положишься на Сицилию и африканские провинции, то будешь иметь новые силы, чтобы в скором времени с сильным флотом явиться к устью Тибра. Я пойду на зиму с моими легионами в Капую и за Вольтурн. Константин, довольный тем, что владеет Римом, оставит нас на время в покое, а с наступлением весны мы двинемся с новыми силами вперед, как на суше, так и на воде. Притом я слишком надеюсь на союз других королей, для которых Константин, владеющий Британией, Галлией, Италией и Африкой, был бы слишком сильным союзником.

– Клянусь Геркулесом, – сказал Максенций, – я обдумаю твоё предложение. Ха-ха! Если бы Константин имел меня в своей власти, наверно, он велел бы отрубить мне голову и носить ее на шесте на показ по всем городам римского государства. Я ему по крайней мере обещаю, что так сделаю с его головой!

– Если ты ее еще получишь, – ответил Руф сухо.

– Если я должен буду оставить Рим, – кричал император, еще больше рассерженный этим выражением своего полководца, – то и сперва подожгу его со всех четырех концов, и клянусь тебе, что Нерон в сравнении со мной в этом отношении был только мальчишкой! Я знаю, что могу надеяться на солдат.

Руф был римлянин старого закала; ужасные угрозы императора его возмущали на столько же, на сколько и требования, чтобы солдаты участвовали в поджоге. С мрачными складками на лбу смотрел он безмолвно и пристально на Максенция и потом сказал:

– Да, ты можешь надеяться на меня и на армию в сражении.

Тиран понял своего полководца. Вольноотпущенный доложил, что настал шестой час – час обеда.

– Не будем портить себе из-за Константина аппетита, – сказал Максенций, – за бокалом фалернского вина можно легче говорить об этом деле.

Еще вечером того же дня возвратился Руф в армию, ужасно расстроенный приказанием императора, который, доверяя уверениям ворожеев и толкователей знамений, поручил своему полководцу ретироваться с отрядом к Риму, но с мелкими боями, чтобы выиграть время для подвигающихся с юга легионов.

В это самое время в одной из галерей Терминов Тита сидел одиноко молодой сенатор Симмах, задумчиво устремив мрачный взор на мраморную группу Лаокоона, находившуюся в одной из ниш задней части галереи.

В Риме не было более гордого римлянина, не было и более усердного поклонника богов, чем он.

Между немногими достойными уважения людьми, которых мог представить тогда испорченный город, он был почтеннейшим человеком, со строгим нравом, получивший образование в новоплатоновской школе, имеющий притом, кроме происхождения из старой сенаторской

фамилии, неизмеримые богатства. Многократно предлагал ему Максенций самые высокие посты, но Симмах не принимал их, потому что не хотел быть помощником тирана. Удалившись от общественной жизни, полный досады из-за разврата римлян, сердясь на сенаторов и воинов, которые, не помня славы своих предков, допускали Максенция даже к самым безбожным преступлениям над своими близкими и отдали честь своего имени, чтобы только спасти жизнь и имущество; он предался единственно воспитанию своего сына, который, тогда еще мальчик, должен был со временем поднять голос против святого Дамаска и Амвросия за падающих богов Рима. Был ли трагический конец Сафронии или известия с театра войны, о которых Симмах тайным образом узнал, причиной, омрачавшей его лоб?

То и другое вместе, но все-таки сенатор не питал сожаления к смерти женщины, умершей христианкой и не имел никакого сочувствия к угрожающему падению господства Максенция, которого в такой же степени презирал, в какой ненавидел Константина.

Из мрачного размышления молодой сенатор был выведен приходом старика, который с ласковой улыбкой подошел к нему и подал в знак приветствия руку.

Морщины на лбу Симмаха разгладились, когда он узнал старика; ведь это был его прежний учитель, Лактанций Формиан, учивший его однажды при дворе Диоклетиана в Никомедии, риторик.

– Прошло уже около восьми лет, – начал он после первого приветствия, – с тех пор, как ты вернулся из Азии в Рим, и я почти не мог надеяться застать тебя еще в живых, если бы фортуна не способствовала мне еще раз увидеть блестящего владельца мира, золотой Рим.

– Если ты считал это за счастье, то скоро можешь изменить свое мнение, – ответил Симмах, лоб которого снова омрачился.

– Я вчера только прибыл, – ответил Лактанций, – и уже от многих узнал очень дурные вести. Однако меня тронула до глубины души потрясающая смерть Сафронии. Я познакомился с ней в Никомедии и тогда уже удивился ее высоким убеждениям.

– Поступок этой женщины произвел бы на меня впечатление, если бы Сафрония вонзила себе нож в грудь не как страстная обитательница Востока и притом еще как сумасбродная христианка, а как настоящая римлянка, хладнокровно и твердо, как Лукреция. Меня возмущает то, что даже префект Рима в святилище своего дома не обеспечен от преследований императора-тирана. Однако еще позорнее то, что в Риме нет старого Брута, который осмелился бы поднять с пола окровавленный кинжал.

– Мне рассказывали и о Константине, о его победах над Руфом и о том, как он неудержимо дошел уже до Умбрии. Не узнаешь ли ты в нем орудия свыше, для наказания преступлений Максенция?

После этого вопроса Симмах устремил с горькой усмешкой взор на Лактанция: потом указал рукой на группу Лаокоона и сказал:

– Рассмотрю эту картину, рассмотрю ее хорошо! Видишь ли ты, как Лаокоон, терзаемый обеими змеями, извивается в немом страдании и взывает к небу? Видишь ли, как его оба сына, обвитые кольцами страшилища, взывают к отцу, который не может им помочь? Вот это картина Рима, – Рима, который будет растерзан Максенцием и Константином вместе с его населением и в смертельном объятии задавлен. Разница только в том, что те змеи вместе напали на своих жертв, между тем как эти с двойной кровожадностью разорвут добычу.

– Нет, нет! – вскричал Лактанций с удивительным жаром. – Ты не можешь Константина сравнивать ни с этой змеей, ни поставить его наравне с презренным Максенцием.

– Ты его не знаешь, добрый старик, – ответил Симмах с горькой усмешкой. – Ты думаешь, что он похож на своего отца Констанция Хлора, и забываешь, что его мать Елена, докийская служанка при гостинице, самого низкого происхождения и притом еще христианка.

Лактанций подавил ответ, готовый уже сорваться с его губ.

Сенатор же продолжал в страстном возбуждении, дрожащим от страдания и злости голосом:

– Знаешь ли ты, что Константин прикрепил проклятое имя Бога христиан на свое войсковое знамя? О Рим! Галлы и карфагеняне не причинили тебе такого позора, как этот император во главе римских легионов! Лактанций, если ты наподобие старого Гомера сохранил в своей груди неиссякаемый источник поэзии, то подними свой голос за бессмертных богов против распятого на кресте еврея, которого Константин хочет возвысить на престол Юпитера!

Черта глубокой скорби пробежала по лицу старика.

Прежде он – поклонник богов – старался как поэт и оратор побеждать христианство и этим заслужил расположение Диоклетиана. Тронутый вдруг милостью Божьей и приняв веру во Христа, старался он с тех пор неусыпно словами, а особенно философскими стихотворениями защищать свою новую веру и побеждать язычество, чтобы исправить данный им раньше дурной пример. Как больно было для него теперь узнать, что стихи, написанные им для прославления идолопоклонничества, еще не позабыты, тогда как его оправдывающие христианство сочинения не были известны даже его бывшему ученику!

На вызов Симмаха покачал он головой и с горькой усмешкой ответил:

– Если Юпитер не в состоянии метать молнии, чтобы защищать свой трон, и если сломаны копьё Минервы и лук Аполлона, как же может перо в руке старика спасти богов Рима от падения?

Симмах только хотел ответить, как на галерею взойшло множество приезжих, которым проводник начал громким голосом описывать статую Лаокоона. Рассерженный словами Лактанция, досадуя на помеху, попрощался он коротко со своим учителем и быстро ушел.

Трагический конец благородной Сафронии произвел во всех слоях общества Вечного города глубокое впечатление и, приводя многих в стыд и будя нравственное сознание, ясно представил глазам всех позорное унижение, в которое тиран привел аристократию и народ.

Префект канцелярии Ираклий, который имел везде своих шпионов, доложил императору после обеда о начавшемся в городе волнении.

Ираклий, бывший раньше христианином, был со времени своего отступления подобно всем апостатам неистовым врагом своих бывших единоверцев и необычайно быстро повысился на своем поприще от профессора красноречия до настоящего поста и стихотворениями. Еще год назад жил он в пустой Сардинии в изгнании, сосланный туда судебским приговором городского префекта Руфина, потому что он беспокоил кровопролитием общество христиан. Ходатайство его жены, Сабины, дамы из старого патрицианского поколения, руку которой он купил отступлением от веры, дало ему свободу; вследствие похвальной речи в день годовщины восшествия на престол Максенция заслужил он его расположение; приглашенный в тайную канцелярию, он был скоро поставлен во главе ее. Хитрый и уступчивый грек достиг этим значительного влияния. Он имел полное доверие тирана, страстям которого он служил и которыми потом сумел воспользоваться для своей цели.

Максенций очень хладнокровно слушал доклад своего тайного секретаря о расположении духа в городе и о глубоком впечатлении, произведенном смертью Сафронии на население.

– Да, – сказал он с усмешкой, залпом выпивая бокал вина, – в самом деле нужно обратить внимание на общественное мнение. Напиши поэтому сейчас повеление об аресте Руфина и позаботься, чтобы его привлекли к ответственности, потому что он – ну, потому что он, как передал мне Руф, не заботился как следует о снабжении города провиантом.

При этих словах глаза грека заблестели злорадомством. Он не простил Руфину, что тот приговорил его два года тому назад к пожизненной ссылке в Сардинию: давно уже искал он повода отомстить ему за это, однако префект города оставался для него до сих пор недостижимым на своем высоком посту. Теперь наступил час мести, и Ираклий приветствовал его тем жаднее, что недавно Руфин с гордостью римского сенатора отказал, и может быть слишком

резким словом, в несправедливом требовании греческого выскочки и дал ему почувствовать свое презрение.

Ираклий должен был овладеть собой, чтобы не выдать своей радости.

– Как? – спросил он, будто бы испуганный словами императора. – Сенатора Арадия Руфина, префекта города Рима, ты хочешь арестовать.

– И если мне нравится, приговорить его к смерти, – прибавил Максенций хладнокровно. – Что такое префект города? Такая маковая сенаторская головка сидит не крепче на своем стебле, чем плебейский волчец!

– Все-таки я советовал бы, если твое божество желает поднять руку на префекта города, подождать прибытия легионов с юга, – заметил лукавый грек.

– Легионов? – спросил, хмурясь, Максенций.

– Твое божество слишком долго уже питало этого ужа на своей груди. Ты один не хотел видеть, как Руфин старался приобретать расположение к себе римского народа. Я всегда дрожал, когда только вспоминал, какой громадной силой распоряжается этот тщеславный человек на своем посту, как префект города. Но теперь, когда Константин поднялся против тебя, он сделался вдвое опасным, и если он, как твое божество говорит, не сделал необходимых приготовлений о снабжении Рима провиантом...

– Этот подлый изменник! – вскричал Максенций. – Да он был соратником Константином.

– Ну, тогда я не имею ни малейшего сомнения, – продолжал коварный грек, – что найдутся в его доме компрометирующие сочинения, например, тайная корреспонденция, из которой заговор с Константином...

– Еще раз говорю тебе! – вскричал Максенций в бешенстве. – Напиши сейчас же повеление об аресте и позаботься, чтобы судьи исполнили свою обязанность!

– В этом непременно существует заговор, – говорил Ираклий, не обращая внимания на приказание императора, – доказательства которого найдутся и должны найтись, его жена Сафрония была замешана, и, не желая давать показания против своего супруга, сама лишила себя жизни. Так римляне должны читать это завтра в «дневнике».

Максенций должен был размышлять несколько секунд, чтобы понять отвратительный план Ираклия. Но потом он ударил рукой по колену и с величайшим удовольствием воскликнул:

– Клянусь дубиной Геркулеса! В целой Римской империи я не нашел бы другой гончей собаки, подобной тебе! Твой план отличен, превосходен: знаешь ли, что эта Сафрония была христианка и что она по этой причине отказалась повиноваться моей воле? Помести также и это в «дневнике». Этим прекратится разговор народа из-за этой женщины; угрозой же процесса удержу эту стаю собак во власти, и конфискация мне как раз кстати для постройки храма и для празднования предстоящей годовщины моего восшествия на престол. Какое дело римскому крысьему гнезду, – прибавил он с презрительной насмешкой, – откуда рожь, если только гадина может вдоволь нажраться?

Ираклий хотел прощаться, так как он горел желанием дать префекту города почувствовать свою месть, но жест монарха удержал его.

– Знаешь ли, – спросил Максенций, и его лоб опять омрачился, – знаешь ли, что Константин хитро выдуманным обманом сделал всю шайку христиан своими союзниками? Как животное Колизея в своей клетке выжидает, пока сторож отворит решетку, так ожидают эти христиане часа, в который Константин явится перед воротами Рима, чтобы в кровавом востании нагрянуть на меня. Но, клянусь Геркулесом, они должны почувствовать мою руку! В течении восьми дней их епископ Мельхиад вместе со всеми священниками и диаконами должен быть пойман. Для этого нет более способного, чем ты, ты знаешь их убежища и их тайные знаки, и тебе составит удовольствие предать твоих бывших бесчестных товарищей казни. Коль

скоро исчезнут пастухи, очередь будет за жирными баранами, при этом и тебе достанется доля. Остаток черни пусть спрячется потом в свои пещеры: его я уже не боюсь.

Как ни был раздражен апостат в своей злобе против церкви, которая отлучила его, и как ни старался он всегда найти случай, которым мог бы восстановить императора против христиан, это повеление все-таки напугало его. Ираклий вполне знал силу христианской веры, он во время преследования Диоклетиана так часто испытывал ее, что не мог сомневаться в совершенной бесполезности кровавых мер. Особенно теперь, когда Константин движется к Риму, преследование казалось ему крайне опасным и в политическом отношении.

Кроме того, Ираклий ввиду неоднократных поражений Руфа сообразил уже возможность низвержения Максенция Константином. В его положении каждый другой вовсе не сомневался бы, что тогда и он заслужит смерть. Однако хитрый грек не терял надежды заслужить расположение победителя или же, во всяком случае, спасти свою жизнь, если только ему удастся помириться с церковью. А вместо того он должен теперь служить орудием новых кровавых распоряжений, которые даже в языческом населении сделались непопулярными и против которых даже его сердце возмущалось.

Хитрому греку достаточно было нескольких секунд, чтобы найти способ избавиться от неприятного для него поручения и притом сейчас же споспешествовать своим личным планам. Так как противоречие и опровергающие доводы обыкновенно еще больше укрепляли императора в его упрямстве, то он решил окольными путями достигнуть своей цели.

– Повелитель мой, – сказал он, – никогда еще не давали мне твои божественные уста поручения, которое я исполнил бы с большей охотой, чем это. И так как мне богами дано узнать твои повеления предварительно, то я после долгого и серьезного размышления нашел новое и единственно верное средство истребить назарян с корнем.

– Клянусь Геркулесом! – вскричал Максенций. – Я повелю поставить тебе на форуме самую красивую триумфальную арку, если твое средство окажется хорошим.

– Оно так же верно, как и просто, – ответил грек. – Кровавые пожары Диоклетиана, как и прежних императоров, воспаляли только фанатизм этой стаи собак; ты должен вложить другие стрелы в лук, если хочешь их истребить. Горная вода вздымается перед преградами, встречающимися на пути, но если ты проведешь ее между узкими запрудами в пустыню, то она сбежит и иссякнет сама собой в песке. Итак, запрети христианам всякое общение в публичной гражданской жизни с поклонниками бессмертных богов. Вели поместить во всех училищах твой портрет и прикажи, чтобы учителя и ученики ежедневно перед учением воскуряли фимиам. Прикажи, чтобы твои жрецы каждое утро окропляли священной водой все жизненные припасы на базаре, чтобы все купцы до последнего торговца поставили в своих лавках идолов. Браки, договоры – купчие контракты – должны считаться незаконными, если они не заключены при принесении жертв; никакой истец не должен являться перед судом, не поклонясь раньше богам. Этими и подобными средствами ты исключишь назарян из школ, торговли и наследства, суда и не пройдет одного поколения...

– Этот скучный опыт, – перебил его Максенций, зевая, – пусть сделает кто-нибудь другой; кого я хочу задавить, того сейчас хватаю за горло. Грек, конечно, хотя и носит имя, происходящее от Геркулеса, – прибавил он презрительно, – возится охотнее с ядами и тайными средствами. Я должен наконец, – сказал он с досадой и ударяя кулаком по столу, – отрубить этой лернейской змее ее сто голов, и если ты не хочешь быть головней, которую я воткну ей в шею, чтобы головы больше не вырастали, то я найду другого!

Ираклий не потерял ни на миг спокойствия.

– Твое божество знает, – ответил он, – как безусловно я исполняю твои приказания. Однако из ошибок Диоклетиана самой большой была та, что он конфисковал места собрания христиан и тем удалил ловушки, в которые попались лисицы. Возврати назарянам их церкви и кладбища и предоставь им полное право собираться; потом выжидай только одного из их

праздников, и ты увидишь, как они все, во главе с их епископом Мельхиадом, со священниками и диаконами, попадут в ловушку. В середине следующего месяца они празднуют память Цецилии на Аппиевой улице; с радости от возвращенной им свободы при праздновании все настоятели будут в сборе, и ты только должен будешь послать туда преторианцев, чтобы изловить их всех.

– Хитрое предложение, клянусь Юпитером, – сказал император, – и все-таки заманчивое. Однако, – продолжал он после короткого размышления, – не скажут ли эти собаки, что я возвратил им их святыни, боясь Константина, и не будут ли они потом еще громче лаять?

– Но их лай ты потом скоро уймешь, – ответил Ираклий. – Нужно будет, – прибавил он, – с этими христианами поступать, как с гончими собаками: бросая им одной рукой кость милости императора, другой ты будешь махать перед ними кнутом. Тогда они будут пресмыкаться перед тобой.

– Я хочу это обдумать. В самом деле, Диоклетиан не был Геркулесом. Он сгонял этих зверей только в пещеру и, вместо того чтобы задавить всех, предпочел сочинить вздор.

– Ну, настоящий Геркулес выманит их из пещеры, чтобы потом задушить своей сильной рукой. Если ты так прикажешь, то я велю в канцелярии написать эдикт. И если потом еще опубликуешь его до годовщины твоего славного восшествия на престол, то ты увидишь, с каким восторгом благодарности эти простофили христиане примут участие в праздновании и с каким ликованием они будут встречать божественного Максенция.

Довольный пока тем, что Максенций не отклонил его предложения относительно конфискованных церковных имуществ, хитрый грек с последними словами ловко перевел разговор на другой предмет: на предстоящие празднования, которые, кроме строительства храма, были теперь ближе всего сердцу императора. И действительно, Максенций скоро оставил мысль о христианах, чтобы поговорить об этих проектах. Ираклий же сумел описать ему такую приятную программу празднования, что император остался в высшей степени доволен. Он имел к этому предположению прибавить только одно.

– Освящение цирка очистительной водой через жрецов, – сказал он, – кажется мне слишком водянистым, я хочу заменить его кровью. В тот момент, когда при скачках первый победитель достигнет цели и радостный крик народа громом разнесется по цирку, снаружи в отгороженном месте должна быть изрублена полусотня этих христиан. Их борьба со смертью и кровь, которая будет брызгать, – прибавил он с язвительным хохотом, – будет лучшее благословение, чем болтовня и святая вода жрецов.

Ираклий не осмелился противоречить, чтобы не испортить хорошего расположения духа своего господина. Он мечтал о списке заговорщиков, который должен был составить.

Глава IV В катакомбах

Папа Фабиан разделил в 250 году Рим на семь церковных областей, во главе каждой области стоял диакон, который имел притом и надзор за кладбищами (Coemeteria), назначенными для каждой области. Целийский холм (Coelimontium), где находился дворец Руфина, был причислен ко второй области, кладбище которой находилось возле Аппиевой и Латинской улиц.

Валерия желала, чтобы ее мать похоронили в катакомбах возле Аппиевой улицы, которая была непосредственно под надзором папы и получила свое название от святого папы Каликста.

В старом Риме умерших хоронили ночью; согласно предусмотрительному распоряжению Ирины труп Сафронии должен был быть вынесен тихо, без всякой пышности. Но это не помешало большому числу бедных и стариков собраться в передней, чтобы выказать своей добродетельнице любовь и благодарность. Когда Ирина в сопровождении двух служанок появилась, чтобы от имени Руфина и его дочери раздать им милостыню, она испугалась, увидев между ними и Рустiku, жену одного могильщика из Транстиберинского городского квартала. Хотя эта женщина только четыре дня тому назад родила, она все-таки пришла со своим младенцем и слепой матерью, и когда Ирина кротко упрекнула ее за это, молодая женщина ответила:

– Мы ни за что не могли остаться дома: мы должны еще раз поцеловать руку той, которая сделала нам столько добра!

Ирина поспешила ввести этих двух женщин в комнату к телу покойной, и глубоко было видеть, как мать с новорожденным ребенком на руках и слепая старуха стояли на коленях возле смертного одра и выражали свою печаль и благодарность.

Только после долгого сопротивления взяла Рустика платок, который предложила ей Ирина, чтобы она укрылась им на обратном пути от холодного ночного воздуха. Как часто под грубой раковиной бедности можно найти драгоценный жемчуг благороднейшего образа мыслей!

Руфин вместе со своей дочерью подошел еще раз к покойнице, чтобы с горячими слезами запечатлеть на ее лбу прощальный поцелуй. Потом он покрыл, согласно обычаю, драгоценным покрывалом из тирского пурпура лицо по римскому обычаю открыто лежавшего на смертном одре тела. По окончании молитв церкви, вознесенных священниками, шествие, к которому кроме Руфина и его дочери присоединились только Ирина и самые близкие родственники, тронулось, освещенное факелами, которые несли рабы дома.

Несмотря на позднее ночное время, везде перед соседними дворцами и домами стояли группы людей. Никто не посмел сказать ни одного слова сожаления из страха к государственным шпионам, находившимся везде поблизости.

Спускаясь с возвышения Делийского холма, траурное шествие встретилось с толпой молодых людей, кутивших в тот вечер в одной из гостиниц этого квартала. Опыанная вином, готовая всегда к ночному безобразию, бурная компания двинулась вперед, чтобы отнять у провожатых факелы. Во главе ночных гуляк стоял юноша, с которым мы в продолжении нашего рассказа скоро опять встретимся, – сын префекта государственной канцелярии.

– Клянусь Бахусом! Покойникам не нужны факелы, чтобы найти дорогу под землю, – говорил он своим товарищам, – но, если мы желаем дать серенаду моей красавице Телезилле, то нам нужны свечи.

С этими словами он попытался вырвать у одного из рабов факел, но к нему подошел один из числа немногих провожатых, опустил с размаху руку на его плечо и сказал с трогательной строгостью:

– Городской префект Руфин провожает свою жену в могилу, не мешай тихому торжеству!

Эти слова и глубокая печаль, с которой они были сказаны, геройская смерть Сафронии, как и высокий пост говорившего, разогнали пристыженную и испуганную компанию.

Предводитель в замешательстве, заикаясь, извинился, и все разошлись.

Миновав бани Каракаллы, шествие подошло, не встречая больше препятствий, к Аппиевым воротам, которые теперь носят название святого Севастиана. Там ждала толпа христиан, особенно бедных, чтобы проводить умершую в катакомбы святого Каликста.

Ночь была чудно хороша. С тихого неба смотрели звезды, как взоры ангелов, на ночную процессию; тихий покой веял везде в пещерах, и листья деревьев, подобно набожным детям, не осмеливались шептаться, дабы не нарушить благоговения-молитвы. Но мрачно смотрели находившиеся по обеим сторонам улицы языческие надгробные памятники на христианское погребальное шествие, – тщеславная, гордая пышность и хвастовство живых над прахом и тлением, для которых не было надежды блаженного воскресения.

Клирики, находившиеся во главе шествия, начали пение псалмов не на печальный, а на радостный мотив, какой был предписан при погребении мучеников. О, как часто в течение трехсот лет раздавалось это святое пение в тишине ночи на Аппиевой дороге, когда христиане провожали тела мучеников с места казни и из Фламиниева амфитеатра в катакомбы. Но скоро придет время, когда римский народ, когда пастухи Албанских и Сабинских гор, когда пилигримы из Этрурии и Кампании длинными рядами под звуки святых радостных песен придут на богомолье к славным гробам мучеников, чтобы при них праздновать победу креста над миром. Да, в то время когда гордые надгробные памятники с их хвастливыми надписями уже превратятся в развалины и над раскопанными и обворованными могилами будут подниматься вверх только пустые, плющом обвитые руины, будут приходиться даже из стран, куда еще никогда не ступала нога римского воина, – из неизвестных частей света, – набожные пилигримы по Аппиевой дороге, чтобы в вере, любви и надежде помолиться у гробов мучеников.

Настоящий вход в катакомбы святого Каликста плотно прилегал к Аппиевой улице, возле надгробного памятника христианского семейства Корнелиев. С тех пор как земля, под которой находились катакомбы, была конфискована Диоклетианом, христиане сделали себе другой тайный вход, заросший деревьями и низкими тернистыми кустарниками.

Там ожидал покойницу могильщик Минций из Транстиберинского квартала вместе с подчиненными могильщиками.

Вследствие узости помещения тело должно было быть снято с носилок и так перенесено вниз; Руфин взял дорогую ношу на руки и, поддерживаемый Минцием и его товарищами, понес в глубину.

Пройдя низкие со сводами галереи песочных ям, шествие двинулось по длинным галереям подземного города – к могиле, где Сафрония должна была найти место отдохновения. Там ждал в среде своих священников и диаконов епископ Мельхиад, чтобы лично совершить погребение мученицы.

С церковными молитвами подняли могильщики тело и поместили его в открытую могильную нишу; Валерия же вылила дорогие духи из принесенного сосуда на тело умершей, так что подземелье наполнилась благоуханием.

До сих пор Руфин, язычник, мог присутствовать на святом торжестве, и все его глубоко трогало; процессия в тишине ночи на Аппиевой дороге при пении псалмов, шествие через галереи подземного кладбища и набожное благоговение, с которым христиане исполняли погребение.

Но теперь началась святая литургия. С какой печалью сознал он, что должен быть исключен из любви, которая собрала христиан вокруг могилы его супруги! О, теперь он чувствовал, какая пропасть отделяет его от Сафронии и детей. На минуту он попробовал поднять свое сердце и разум к прежним богам, но не сумел исторгнуть из своей души ни капли благоговения к идолам.

На разных памятниках префект читал с немалым удивлением имена тех лиц, которых он при их жизни знал и о которых никогда не думал, чтобы они были христиане. Все они были из числа тех, которых он ради их благородных деяний и ума особенно уважал. Некоторые из них были с сенаторским званием и потомки самых старых поколений римской аристократии.

Странствуя по галереям катакомб, Руфин приближался иногда к нише, в которой христиане были собраны у гроба Сафронии: как чудесно и трогательно было для Руфина их пение, доносившееся через галереи катакомб до его слуха, то приближаясь, то опять удаляясь! Как его потом тянуло к ним, чтобы вместе с ними молиться у гроба своей жены!

Когда святая литургия кончилась, Руфина еще раз проводили на место погребения, чтобы сказать дорогой усопшей последнее «прости», прежде чем могильщики закроют гроб мраморной плитой.

Валерия со всей пылкостью детской любви молилась Спасителю за отца.

Когда Руфин нагнулся над трупом своей супруги и приложился губами для последнего прощания к ее холодным рукам, тогда услышала дочь из уст отца слова, наполнившие ее сердце сладчайшим блаженством:

– Дорогая жена, да будет твой Бог скоро и моим!

Могильщики подняли мраморную плиту к могильной нише и укрепили ее известью: римская христианская церковь вложила в свою сокровищницу катакомб новую драгоценность.

Не хватило времени, чтобы вырезать на надгробном камне надпись; это было больно для Руфина, и, между тем как могильщики исполняли свою работу, он взял из их инструментов острое железо и нацарапал в извести соседней стены надпись: «Милая Сафрония, ты всегда будешь жить в Боге».

Префект повторил этим только слова и выражения, которые он перед тем читал на многочисленных памятниках, однако, вписывая их теперь сам, размышляя о них и употребляя их по отношению к своей жене, он был тронут этими словами особенно: это было исповедание его личного убеждения, это «*semper vives Deo*» – «всегда ты будешь жить в Боге». Эта вера же в единого Бога и в вечную жизнь наполнила его сердце светом, утешением и неизвестной ему доселе радостью. Слезы текли у него из глаз по щекам, и в волнении он написал под надписью, повторяя свое исповедание и утверждая слова:

– Да, Сафрония, ты будешь жить!

Между тем как всесокрушающим временем и варварскими руками сломаны памятники, и надписи гробниц почти все исчезли, слова, нацарапанные Руфином в извести, остались и поныне и рассказывают нам об утешении души, которая из борьбы между природой и благодатью, между ночью неверия и светом веры вышла победительницей.

Молитва Сафронии перед престолом Божьим начинала исполняться.

Когда могильщики кончили свою работу, верующие оставили место погребения с прощальным приветом: «Мир праху твоему!», чтобы через галереи катакомб опять выйти на поверхность земли.

Только что взошло солнце над Альбанскими горами и озолотило своим блеском легкие облака, которые тихо и мирно, наподобие стада овец под защитой пастуха, двигались по длинному небесному своду, и солнце смотрело на Рим, на главный город мира, с его бесконечным и безрадостным стремлением к приобретению и наслаждению и освещало памятники на Аппиевой дороге, под которыми все гонения и стремления, все страсти, радости и страдания, любовь и печаль покоились в вечном молчании.

Валерия заметила, как ее отец царапал на штукатурке гробницы надпись: с возрастающим вниманием слагала она букву за буквой и угадывала уже с полуслова все, прежде чем слово было написано; при каждом следующем слове ее сердце билось радостнее и слезы блаженного счастья текли по ее щекам. Не нужно было просящего взгляда девицы, чтобы побудить епископа Мельхиада поговорить на обратном пути с Руфином об учении христианства. Вре-

мне было достаточно, чтобы объяснить основные истины нашей святой религии в такой степени, в какой они тогда входили в обучение о крещении, и Мельхиад имел в Руфине настолько прилежного, насколько и умного ученика.

Но когда при прощании папа высказал надежду в скором времени свершить крестное знамение на лбу префекта и этим торжественно поднять его в число катехуменов к приготовлению для принятия святого крещения, тот все-таки еще испугался этого решительного шага и открытого разрыва с римской государственной религией.

Достаточно, думал он, что он в сердце почитает Бога христиан; когда его государственная должность и лучшие времена позволят, тогда он охотно исполнит желание епископа.

Мельхиад возлагал всю надежду на влияние Валерии на ее отца, хотя он с боязливым предчувствием говорил себе, что для медленного и постепенного приготовления к принятию христианства, может быть, не хватит времени. И святой старик предчувствовал верно.

Только вышло в прошлую ночь погребальное шествие из дворца префекта, как чиновник с несколькими сыщиками ворвался в жилище и наложил запрещение как на множество письменных сочинений, так и на ключи префектуры.

Вблизи Палатина Валерия попрощалась со своим отцом и пошла вместе с Ириной по дороге через мост в Транстиберинский квартал, чтобы навестить роженицу Рустику, так как они боялись, что вчерашний выход и холодный ночной воздух могли повредить доброй женщине.

При входе в свое жилище Руфин был озадачен известием, переданным ему управляющим, о ночном обыске дома.

Префект побледнел: он знал, какую цель имеет обыск дома; Максенций решил его погубить.

И теперь уже слышался в передней комнате шум и стук оружия; в следующий момент ворвались в покои центурионы и солдаты, очевидно ожидавшие его возвращения.

Но и в Руфине поднялось чувство самосознания римского патриция, возвышенное еще мыслью о мученической смерти его супруги.

– Я знаю, почему вы пришли, – сказал он. – Я последую за вами, но оставьте цепи. Ни сенатор Арадий Руфин, ни префект Рима не позволит себя сковать, прежде чем будет осужден.

– Хотя мне приказано отвести тебя скованным в Мамертинскую тюрьму, – ответил судебный чиновник, – однако если ты добровольно последуешь, то я не стану употреблять силу.

Дорога мимо Колизея по Священной улице (Via sacra) через триумфальную арку Тита и через форум была довольно длинна, чтобы привлечь массу народа к печальному зрелищу того, как ведут городского префекта в тюрьму. Однако страх перед тираном сдерживал людей, и только выражение их лиц выдавало внутреннее волнение из-за такого нового насилия.

В судебном присутствии Мамертинской тюрьмы уже ожидал прибытия узника претор со своими заседателями. Даже Ираклий явился под предлогом высказать свое мнение о почерке конфискованных письменных сочинений, как префект государственной канцелярии, в сущности же, чтобы управлять ходом процесса. С коварным злорадством обратил он свой взор на узника, которого, окруженного сыщиками, представили суду.

После обычных вопросов начался допрос подсудимого о его прежнем отношении к Константину и нескольким полководцам того. Потом из конфискованных бумаг было предложено несколько писем, почерк которых Ираклий, сравнивая их с поздравительными письмами императору, признал за почерк Константина.

Содержание этих писем, которые претор приказал прочитать, было, конечно, в высшей степени компрометирующим для префекта города: об этом Ираклий, который велел написать их тайно писарю государственной канцелярии, позаботился. Руфин же, возмущенный до глубины души, заявил теперь протест против этих писем, которых он никогда не получал и которые должны были быть подложными.

– Кто написал эти письма? – говорил он, смотря на Ираклия взором, которого тот не мог вынести. – Это может сказать судьям префект государственной канцелярии, а может быть, он даже знает, каким образом они попали в мои бумаги?

Эти слова узника привели на мгновение в замешательство трусливого грека, однако он скоро оправился и с хладнокровием попросил претора внести подробно в протокол через нотариуса выражения подсудимого, коварно прибавляя:

– Как доверенный слуга божественного Максенция, я стою слишком высоко, чтобы эта стрела из рук государственного изменника могла коснуться меня. Такая отговорка делает преступление подсудимого совсем достоверным.

Не давая Руфину больше защищаться, претор объявил приговор, которым изобличал префекта в государственной измене против жизни императора и приговорил его к смерти, а имущество его к конфискации.

По знаку Ираклия тюремщик со своими сыщиками хотел уже наложить руку на узника, но Руфин выпрямился и сказал им:

– Подождите! За мной еще слово! Император желает моей смерти, – говорил он претору, – и воля его – закон, по которому ты меня судишь. Фиглярство с письмами вы могли бы оставить. Я должен умереть, потому что добродетель моей жены была слишком высока для безбожного тирана, и достойный такой жены, я смело пойду навстречу смерти. Но пусть Ираклий передаст своему господину, как последний поклон своего бывшего соратника: преступления не держат троны! В преступной гордости ты все божье и человеческое право топчешь ногами, но твои ноги поскользнутся на этой почве!

Позвольте мне высказаться! – говорил Руфин строго сыщикам, когда претор и Ираклий, взбешенные смелой речью подсудимого, единогласно велели им увести узника. – Невинная кровь, которую ты проливаешь, Максенций, – продолжал Руфин, его глаза блестели, и, грозя, поднял он свою правую руку к небу, – вопли вдов и сирот, нужда обворованных и изгнанных, стон угнетенного народа, все это взывает о мести, узурпатор, и от этой мести не защитят тебя твои преторианцы. Со срамом и позором кончишь ты жизнь, ты и все трусливые рабы, служившие твоим страстям – и близок уже час возмездия!

– О! – вскричал Ираклий сыщикам. – Разве вы можете переносить эти оскорбления величества? Берите его! В самую глубокую подземную темницу этого государственного изменника! Вон, вон!

Тюремщик и его слуги бросились на Руфина, связали и увели его.

С мрачной досадой на лице ушел Ираклий домой. Он утолил свою месть: человек, которым он был обижен, предан смерти, однако, вместо того чтобы чувствовать теперь удовлетворение, его как привидение преследовала предсказанная угроза, как привидение. Напрасно он старался убедить себя, что падение городского префекта было уже решенным делом императора, напрасно он ускорял свои шаги; страшная тень не отставала от него и постоянно нашептывала ему последние слова приговоренного:

– Близок час возмездия!

Глава V

Жертва

На дороге из катакомб домой Валерия присоединилась к Ирине. Та тоже с величайшей радостью узнала о превращении, которое совершалось в Руфине, и обе женщины обдумывали вместе, как поступить, чтобы растение, пустившее отростки веры, могло развиваться в тиши, безмятежно защищенное от уличной пыли общественной жизни и всепоглощающих забот и занятий службой.

Разговаривая таким образом, обе женщины перешли мост и достигли Транстиберинского квартала, который был в то время, как и теперь, населен преимущественно беднейшим классом. По некоторым улицам с трудом отважился бы пройти патриций, а тем более приличная дама; однако обе женщины были желанными для тамошних бедняков; с уважением и любовью приветствовали их со всех сторон.

Могильщик Минций жил со своей супругой Рустикой и слепой матерью в убогом жилище, но все там было чисто и опрятно. Приветливо смотрело солнце через окно, перед которым стояли цветущие астры, и на растущих впереди кустах поспевали красные райские яблоки. Ворон, которого Минций выучил говорить, повторял время от времени:

– Здравствуй, Рустика! Добрый день, Рустика!

Роженица сидела уже у ткацкого станка и умелой рукой перебрасывала челнок через нитку; возле нее в люльке дремал грудной ребенок. Слепая мать пряла, выделявая из прялки пальцами правой руки нитки, и намотанный на веретено клубок ниток опускался вниз и подымался вверх в непрерывном кругообразном движении: она работала с такой уверенностью и проворством, что нельзя было заметить ее слепоты.

– Я целых четыре дня ленилась, – сказала Рустика улыбаясь, когда Ирина упрекала ее в еще утомительной теперь для нее работе у ткацкого станка, – я должна это наверстать. Когда я устаю, то смотрю на этого маленького балагура в люльке: тогда я думаю, что сижу в Вифлееме у ясель, в которых лежало такое же дитя – бывшее Богом, и как сладка тогда работа.

Молодая женщина оставила на минуту работу и устремила с матерински-радостной улыбкой темные выразительные глаза на спящего младенца.

– Я положила, – продолжала Рустика в благочестивой словоохотливости вследствие своего счастья, – моего первенца мысленно у подножия ясель и просила Пречистую Матерь Марию обращать иногда на него милостивый взгляд: ведь он должен запечатлеться в молодом сердце, как священная печать. И Иосиф, охранявший так верно божественное дитя, будет охранять и моего младенца.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.